

КНЯГИНЯ

В большие, так называемые "Красные" ворота N-ского мужского монастыря въехала коляска, заложённая в четверку сытых, красивых лошадей; иеромонахи и послушники, стоявшие толпой около дворянской половины гостиного корпуса, ещё издали по кучеру и по лошадям узнали в даме, которая сидела в коляске, свою хорошую знакомую, княгиню Веру Гавриловну.

Старик в ливрее прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную вуаль и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение, потом ласково кивнула послушникам и направилась в покои.

– Что, соскучились без своей княгини? – говорила она монахам, вносящим ее вещи. – Я у вас целый месяц не была. Ну, вот приехала, глядите на свою княгиню. А где отец архимандрит? Боже мой, я сгораю от нетерпения! Чудный, чудный старик! Вы должны гордиться, что у вас такой архимандрит.

Когда вошел архимандрит, княгиня восторженно вскрикнула, скрестила на груди руки и подошла к нему под благословение.

– Нет, нет! Дайте мне поцеловать! – сказала она, хватая его за руку и жадно целуя ее три раза. – Как я рада, святой отец, что наконец вижу вас! Вы небось забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила в вашем милом монастыре. Как у вас здесь хорошо! В этой жизни для бога, вдали от суетного мира, есть какая-то особая прелесть, святой отец, которую я чувствую всей душой, но передать на словах не могу!

У княгини покраснели щеки и навернулись слезы. Говорила она без умолку, горячо, а архимандрит, старик лет семидесяти, серьезный, некрасивый и застенчивый, молчал, лишь изредка говорил отрывисто и по-военному:

– Так точно, ваше сиятельство... слушаю-с... понимаю-с...

– Надолго изволил пожаловать к нам? – спросил он.

– Сегодня я переночую у вас, а завтра поеду к Клавдии Николаевне – давно уж мы с ней не видались, а послезавтра опять к вам и поживу дня три-четыре. Хочу у вас здесь отдохнуть душой, святой отец...

Княгиня любила бывать в N-ском монастыре. В последние два года она облюбовала это место и приезжала сюда почти каждый летний месяц и жила дня по два, по три, а иногда и по неделе. Робкие послушники, тишина, низкие потолки, запах кипариса, скромная закуска, дешевые занавески на окнах – все это трогало ее, умиляло и располагало к созерцанию и хорошим мыслям. Достаточно ей было побыть в покоях полчаса, как ей начинало казаться, что она тоже робка и скромна, что и от нее пахнет кипарисом; прошлое уходило куда-то вдаль, теряло свою цену, и княгиня начинала думать, что, несмотря на свои двадцать девять лет, она очень похожа на старого архимандрита и так же, как он, рождена не для богатства, не для земного величия и любви, а для жизни тихой, скрытой от мира, сумеречной, как покои...

Бывает так, что в темную келию постника, погруженного в молитву, вдруг нечаянно заглянет луч или сядет у окна келии птичка и запоет свою песню; суровый постник невольно улыбается, и в его груди из-под тяжелой скорби о грехах, как из-под камня, вдруг польется ручьем тихая, безгрешная радость. Княгине казалось, что она приносила с собою извне точно такое же утешение, как луч или птичка. Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, голос, шутки, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое

черное платье, своим появлением должна была возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и радости. Каждый, глядя на нее, должен был думать: "Бог послал нам ангела..." И, чувствуя, что каждый невольно думает это, она улыбалась еще приветливее и старалась походить на птичку.

Напившись чаю и отдохнув, она вышла погулять. Солнце уже село. От монастырского цветника повеяло на княгиню душистой влагой только что политой резеды, из церкви донеслось тихое пение мужских голосов, которое издали казалось очень приятным и грустным. Шла всеночная. В темных окнах, где кротко мерцали лампадные огоньки, в тених, в фигуре старика монаха, сидевшего на паперти около образа с кружкой, было написано столько безмятежного покоя, что княгине почему-то захотелось плакать...

А за воротами, на аллее между стеной и березами, где стоят скамьи, был уже совсем вечер. Воздух темнел быстро-быстро... Княгиня прошла по аллее, села на скамью и задумалась.

Она думала о том, что хорошо бы поселиться на всю жизнь в этом монастыре, где жизнь тиха и безмятежна, как в летний вечер; хорошо бы позабыть совсем о неблагоприятном, распутном князе, о своем громадном состоянии, о кредиторах, которые беспокоят ее каждый день, о своих несчастьях, о горничной Даше, у которой сегодня утром было дерзкое выражение лица. Хорошо бы всю жизнь сидеть здесь на скамье и сквозь стволы берез смотреть, как внизу под горой клочьями бродит вечерний туман, как далеко-далеко над лесом черным облаком, похожим на вуаль, летят на ночлег грачи, как два послушника – один верхом на пегой лошади, другой пешком – гонят лошадей на ночное и, обрадовавшись свободе, шалют, как малые дети; их молодые голоса звонко раздаются в неподвижном воздухе, и можно разобрать каждое слово. Хорошо сидеть и прислушиваться к тишине: то ветер подует и тронет верхушки берез, то лягушка зашелестит в прошлогодней листве, то за стеною колокольные часы пробьют четверть... Сидеть бы неподвижно, слушать и думать, думать, думать...

Мимо прошла старуха с котомкой. Княгиня подумала, что хорошо бы остановить эту старуху и сказать ей что-нибудь ласковое, задушевное, помочь ей... Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за угол.

Немного погодя на аллее показался высокий мужчина с седой бородой и в соломенной шляпе. Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился, и по его большой лысине и острому, горбтому носу княгиня узнала в нем доктора Михаила Ивановича, который лет пять тому назад служил у нее в Дубовках. Она вспомнила, что кто-то ей говорил, что в прошлом году у этого доктора умерла жена, и ей захотелось посочувствовать ему, утешить.

– Доктор, вы, вероятно, меня не узнаете? – спросила она, приветливо улыбаясь.

– Нет, княгиня, узнал, – сказал доктор, снимая еще раз шляпу.

– Ну, спасибо, а то я думала, что вы забыли свою княгиню. Люди помнят своих врагов, а друзей забывают. И вы приехали помолиться?

– Я здесь каждую субботу ночью, по обязанности. Я тут лечу.

– Ну, как поживаете? – спросила княгиня, вздыхая. Я слышала, у вас скончалась супруга! Какое несчастье!

– Да, княгиня, для меня это большое несчастье.

– Что делать! Мы должны с покорностью переносить несчастья. Без воли провидения ни один волос не падает с головы человека.

– Да, княгиня.

На приветливую, кроткую улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно и сухо: "Да, княгиня". И выражение лица у него было холодное, сухое.

"Что бы еще такое сказать ему?" – подумала княгиня.

– Сколько времени мы с вами не виделись, однако! сказала она. – Пять лет! За это время сколько воды в море утекло, сколько произошло перемен, даже подумать страшно! Вы знаете, я замуж вышла... из графини стала княгиней. И уже успела разойтись с мужем.

– Да, я слышал.

– Много бог послал мне испытаний! Вы, вероятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастного мужа продали у меня Дубовки, и Кирьяково, и Софьино. Остались у меня только Бараново да Михальцево. Страшно оглянуться назад: сколько перемен, несчастий разных, сколько ошибок!

– Да, княгиня, много ошибок!

Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки; все они были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о них. Она не удержалась и спросила:

– Вы про какие ошибки думаете?
– Вы упомянули о них, стало быть, знаете...ответил доктор и усмехнулся. – Что ж о них говорить!

– Нет, скажите, доктор. Я буду вам очень благодарна! И, пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Я люблю слушать правду.

– Я вам не судья, княгиня.

– Не судья? Каким вы тоном говорите, значит, знаете что-то. Скажите!

– Если желаете, то извольте. Только, к сожалению, я не умею говорить и меня не всегда можно понять.

Доктор подумал и начал:

– Ошибок много, но, собственно, главная из них, по моему мнению, это общий дух, которым... который царил во всех ваших имениях. Видите, я не умею выражаться. То есть главное – это нелюбовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам... одним словом, ко всему, что составляет человека. У всех дверей и на лестницах стоят сытые, грубые и ленивые гайдуки в ливреях, чтоб не пускать в дом неприлично одетых людей; в передней стоят стулья с высокими спинками, чтоб во время балов и приемов лакеи не пачкали затылками обоев на стенах; во всех комнатах шершавые ковры, чтоб не было слышно человеческих шагов; каждого входящего обязательно предупреждают, чтобы он говорил потише и поменьше и чтоб не говорил того, что может дурно повлиять на воображение и нервы. А в вашем кабинете не подадут человеку руки и не просят его садиться, точно так, как сейчас вы не подали мне руки и не пригласили сесть...

– Извольте, если хотите! – сказала княгиня, протягивая руку и улыбаясь. – Право, сердиться из-за такого пустяка...

– Да разве я сержусь? – засмеялся доктор, но тотчас же вспыхнул, снял шляпу и, размахивая ею, заговорил горячо:– Откровенно говоря, я давно уже ждал случая, чтоб сказать вам все, все... То есть я хочу сказать, что вы смотрите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего!

– У меня отвращение к людям! – улыбнулась княгиня, пожимая в изумлении плечами. – У меня!

– Да, у вас! Вам нужно фактов? Извольте! В Михальцеве у вас живут милостыней три бывших ваших повара, которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Все, что есть на десятках тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера. Все это двуногое живье воспиталось в лакействе, объелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом... Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников, боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку! Иной молодой человек не прослужит и трех лет, как становится лицемером, подлипалой, ябедником... Хорошо это? Ваши управляющие-поляки, эти подлые шпионы, все эти Казимиры да Каэтаны рыщут от утра до ночи по десяткам тысяч десятин и в угоду вам стараются содрать с одного вола три шкуры. Позвольте, я выражаюсь без системы, но это ничего! Простой народ у вас не считают людьми. Два и тех князей, графов и архиереев, которые приезжали к вам, вы признавали только как декорацию, а не как живых людей. Но главное... главное, что меня больше всего возмущает, – иметь больше миллиона состояния и ничего не сделать для людей, ничего!

Княгиня сидела удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и как держать себя. Никогда раньше с нею не говорили таким тоном. Неприятный сердитый голос доктора и его неуклюжая, заикающаяся речь производили в ее ушах и голове резкий, стучащий шум, потом же ей стало казаться, что жестикулирующий доктор бьет ее своею шляпой по голове.

– Неправда! – выговорила она тихо и умоляющим голосом. – Для людей я много хорошего сделала, это вы сами знаете!

– Да полноте! – крикнул доктор. – Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную деятельность чем-то серьезным и полезным, а не кукольной комедией? Ведь то была комедия от начала до конца, то была игра в любовь к ближнему, самая откровенная игра, которую понимали даже дети и глупые бабы! Взять хоть этот ваш – как его?странно-приимный дом для безродных старух, в котором меня вы заставили быть

чем-то вроде главного доктора, а сами были почетной опекушкой. О господи боже наш, что за учреждение милое! Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше, собрали в дереве с десяток старух и заставили их спать под байковыми одеялами, на простынях из голландского полотна и кушать леденцы.

Доктор злорадно прыснул в шляпу и продолжал быстро и заикаясь:

– Была игра! Низшие приютские чины прячут одеяла и простыни под замок, чтобы старухи не пачкали – пусть спят, чертовы переноски, на полу! Старуха не смеет ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось от старух, как от воров, а старухи потихоньку кормились и одевались Христа ради, и денно и нощно молили бога, чтоб поскорее уйти из-под ареста и от душевспасительных назиданий сытых подлецов, которым вы поручили надзор за старухами. А высшие чины что делали? Это просто восхитительно! Этак раза два в неделю, вечером, скажут тридцать пять тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгиня, то есть вы, будете в приюте. Это значит, что завтра нужно бросать больных, одеваться и ехать на парад. Хорошо, приезжаю. Старухи во всем чистом и новом уже выстроены в ряд и ждут. Около них ходит отставная гарнизонная крыса – смотритель со своей сладенькой, ябеднической улыбочкой. Старухи зевают и переглядываются, но роптать боятся. Ждем. Скачет младший управляющий. Через полчаса после него старший управляющий, потом главноуправляющий конторой экономии, потом еще кто-нибудь и еще кто-нибудь... скажут без конца! У всех таинственные, торжественные лица. Ждем, ждем, переминаемся с ноги на ногу, посматриваем на часы – все это в гробовом молчании, потому что все мы ненавидим друг друга и на ножах. Проходит час, другой, и вот наконец показывается вдали коляска, и... и...

Доктор залился тонким смехом и выговорил тоненьким голоском:

– Вы выходите из коляски, и старые ведьмы по команде гарнизонной красы начинают петь: "Коль славен наш господь в Сионе, не может изъяснить язык..." Недурно?

Доктор захохотал басом и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди, и по его голосу, лицу и блестящим, немножко наглым глазам можно было понять, что он глубоко презирал и княгиню, и приют, и старух. Во всем, что он так неумело и грубо рассказал, не было ничего смешного и веселого, но хохотал он с удовольствием и даже с радостью.

– А школа? – продолжал он, тяжело дыша от смеха. Помните, как вы пожелали сами учить мужицких детей? Должно быть, очень хорошо учили, потому что скоро все мальчишки разбежались, так что потом пришлось пороть их и нанимать за деньги, чтоб они ходили к вам. А помните, как вы пожелали собственноручно кормить соской грудных младенцев, матери которых работают в поле? Вы ходили по деревне и плакали, что младенцев этих нет к вашим услугам – все матери брали их с собой в поле. Потом староста приказал матерям по очереди оставлять своих младенцев вам на потеху. Удивительное дело! Все бежали от ваших благодеяний, как мыши от кота! А почему это? Очень просто! Не оттого, что народ у нас невежественный и неблагодарный, как вы объясняли всегда, а оттого, что во всех ваших затеях, извините меня за выражение, не было ни на один грош любви и милосердия! Было одно только желание забавляться живыми куклами и ничего другого... Кто не умеет отличать людей от баллонок, тот не должен заниматься благотворением. Уверяю вас, между людьми и болонками – большая разница!

У княгини страшно билось сердце, в ушах у нее стучало, и все еще ей казалось, что доктор долбит ее своей шляпой по голове. Доктор говорил быстро, горячо и некрасиво, с заиканьем и с излишней жестикуляцией; для нее было только понятно, что с нею говорит грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человек, но чего он хочет от нее и о чем говорит – она не понимала.

– Уйдите! – сказала она плачущим голосом, поднимая вверх руки, чтобы заслонить свою голову от докторской шляпы. – Уйдите!

– А как вы обращаетесь со своими служащими! продолжал возмущаться доктор. – Вы их за людей не считаете и третируете, как последних мошенников. Например, позвольте вас спросить, за что вы меня уволили? Служил десять лет вашему отцу, потом вам, честно, не зная ни праздников, ни отпусков, заслужил любовь всех на сто верст кругом, и вдруг в один прекрасный день мне объявляют, что я уже не служу! За что? До сих пор не понимаю! Я доктор медицины, дворянин, студент Московского университета, отец семейства, такая мелкая и ничтожная сошка, что меня можно выгнать в шею без объяснения причин! Зачем со мной церемониться? Я слышал потом, что жена, без моего ведома,

таким ходила к вам раза три просить за меня и вы ее не приняли ни разу. Говорят, плакала в передней. И я этого никогда не прощу ей, покойнице! Никогда!

Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, чтобы еще такое сказать очень неприятное, мстительное. Он что-то вспомнил, и нахмуренное, холодное лицо его вдруг просияло.

– Взять хотя бы ваши отношения к этому монастырю! заговорил он с жадностью. – Вы никогда никого не щадили, и чем святее место, тем больше шансов, что ему достанется на орехи от вашего милосердия и ангельской кротости. Зачем вы ездите сюда? Что вам здесь у монахов нужно, позвольте вас спросить? Что вам Гекуба и что вы Гекубе? Опять-таки забава, игра, кошунство над человеческою личностью, и больше ничего. Ведь в монашеского бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах; на обряды церковные вы смотрите снисходительно: к обедне и ко всенощной не ходите, спите до полудня... зачем же вы сюда ездите?.. В чужой монастырь вы ходите со своим богом и воображаете, что монастырь считает это за превеликую честь для себя! Как бы не так! Вы спросите-ка, между прочим, во что обходятся монахам ваши визиты? Вы изволили приехать сюда сегодня вечером, а третьего дня уж тут был верховой, посланный из экономии предупредить, что вы сюда собираетесь. Целый день вчера приготовляли для вас покои и ждали. Сегодня прибыл авангард – наглая горничная, которая то и дело бегают через двор, шуршит, пристаёт с вопросами, распоряжается... терпеть не могу! Сегодня монахи весь день были настороже: ведь если вас не встретит с церемонией – беда! Архиеерею пожалуетесь! "Меня, ваше преосвященство, монахи не любят. Не знаю, чем я их прогневала. Правда, я великая грешница, но ведь я так несчастна!" Уж одному монастырю была из-за вас нахлобучка. Архимандрит занятой, ученый человек, у него и минуты нет свободной, а вы то и дело требуете его к себе в покои. Никакого уважения ни к старости, ни к сану. Добро бы, жертвовали много, не так бы уж обидно было, а то ведь за все время монахи от вас и ста рублей не получили!

Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали и когда она не знала, что ей говорить и делать, то обыкновенно она начинала плакать. И теперь в конце концов она закрыла лицо и заплакала тонким, детским голоском. Доктор вдруг замолчал и посмотрел на нее. Лицо его потемнело и стало суровым.

– Простите меня, княгиня, – сказал он глухо. – Я поддался злomu чувству и забылся. Это нехорошо.

И, конфузливо кашлянув, забывая надеть шляпу, он быстро отошел от княгини.

На небе уже мерцали звезды. Должно быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нежно. Вдоль белой монастырской стены бесшумно носились летучие мыши.

Часы медленно пробили три четверти какого-то часа, должно быть, девятого. Княгиня поднялась и тихо пошла к воротам. Она чувствовала себя обиженной и плакала, и ей казалось, что и деревья, и звезды, и летучие мыши жалеют ее; и часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о том, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти в монастырь: в тихие летние вечера она гуляла бы одиноко по аллеям, обиженная, оскорбленная, не понятая людьми, и только бы один бог да звездное небо видели слезы страдальцы. В церкви еще продолжалась всенощная. Княгиня остановилась и прислушалась к пению; как хорошо это пение звучало в неподвижном,, темном воздухе! Как сладко под это пение плакать и страдать!

Придя в себе в покои, она поглядела в зеркало на свое заплаканное лицо и припудрилась, потом села ужинать. Монахи знали, что она любит маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, от которых во рту пахнет кипарисом, и каждый раз, когда она приезжала, подавали ей все это. Кушая грибки и запивая их малагой, княгиня мечтала о том, как ее окончательно разорят и покинут, как все ее управляющие, приказчики, конторщики и горничные, для которых она так много сделала, изменят ей и начнут говорить грубости, как все люди, сколько их есть на земле, будут нападать на нее, злословить, смеяться; она откажется от своего княжеского титула, от роскоши и общества, уйдет в монастырь, и никому ни одного слова упрека; она будет молиться за врагов своих, и тогда все вокруг поймут ее, придут к ней просить прощения, но уж будет поздно...

А после ужина она опустила в углу перед образом на колени и прочла две главы из евангелия. Потом горничная постлала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко вздохнула, как вздыхают после плача, закрыла глаза и стала засыпать...

Утром она проснулась и взглянула на свои часики: было половина десятого. На ковре около кровати тянулась узкая, яркая полоса света от луча, который шел из окна и чуть-чуть освещал комнату. За черной занавеской на окне шумели мухи.

"Рано!"- подумала княгиня и закрыла глаза.

Потягиваясь и нежась в постели, она вспомнила вчерашнюю встречу с доктором и все те мысли, с какими вчера она уснула; вспомнила, что она несчастна. Потом пришли на память ее муж, живущий в Петербурге, управляющие, доктора, соседи, знакомые чиновники... Длинный ряд знакомых мужских лиц пронесся в ее воображении. Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди сумели проникнуть в ее душу и понять ее, то все они были бы у ее ног...

В четверть двенадцатого она позвала горничную.

– Давайте, Даша, одеваться, – сказала она томно. Впрочем, сначала подите скажите, чтобы запрягли лошадей. Надо к Клавдии Николаевне ехать.

Выйдя из покоев, чтобы садиться в экипаж, она зажмурилась от яркого дневного света и засмеялась от удовольствия: день был удивительно хорош! Оглядывая прищуренными глазами монахов, которые собрались у крыльца проводить ее, она приветливо закивала головой и сказала:

– Прощайте, мои друзья! До послезавтра.

Ее приятно удивило, что вместе с монахами у крыльца находился и доктор. Лицо его было бледно и сурово.

– Княгиня, – сказал он, снимая шляпу и виновато улыбаясь, – я уже давно жду вас тут. Простите, бога ради... Нехорошее, мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорил вам... глупостей. Одним словом, я прошу прощения..

Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел.

Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и закивала головой во все стороны. На душе у нее было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипаж покати к воротам, потом по пыльной дороге мимо изб и садов, мимо длинных чумацких обозов и богомольцев, шедших вереницами с монастырь, она все еще шурилась и мягко улыбалась. Она думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду вносить с собою теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо улыбаться врагам. Встречные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, из-под колес валили облака пыли, уносимые ветром на золотистую рожь, и княгине казалось, что ее тело качается не на подушках коляски, а на облаках, и что сама она похожа на легкое, прозрачное облачко...

– Как я счастлива! – шептала она, закрывая глаза. – Как я счастлива!